

Op. 84
D-15



Владимир Иванович Даль

ОРЕНБУРГСКИЙ КРАЙ
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ПИСАТЕЛЯ



Sanborn

0P84
D 15

0P84,5
811/2/Doc = Pycj 1-4

Даль

Владимир Иванович



Оренбургский край
в художественных
произведениях
писателя

05 а-273696
16 17



Оренбургское книжное издательство
2001

Оренбургская областная научная
библиотека им. Н. К. Крупской

Handwritten initials



МАЙНА

Киргизский султан Каип был некогда призван на ханство хивинское. Почет большой, честь велика, отказываться, казалось, не должно; да и для чего? Чем жить в степи пастухом, жить в подвижной палатке зиму и лето, в ведро и в ненастье, неужели не лучше сесть на ковер в палатах хивинского арка, дворца, хоть он и земляной или глиняный, и сидеть спокойно дома, повелевая безотчетно и безответно.

Каип пошел на ханство и стал самовластным ханом; все прихоти его исполнялись раболепно, и не было приказа ханского, над которым бы Мяхтер, Куш-беги, не только ясулы его, на миг призадумались. Но когда через полтора года по вступлении султана Каипа на ханство стрелок — земляк хана, принес ему тарту, гостинец, убитого лебедя, тогда хан погладил себя широкою холодною лапою птицы этой по лицу, покачал головою и сказал: «Эта лапа купалась свободно в реках и озерах вольной родины моей, топтала мураву луговую и песок сыпучий!» Хивинцы из этого заключили, что чуть ли хан не хочет их покинуть, и стали его стеречь; но Каипа в тот же вечер одолела такая грусть и тоска, что он бежал в лохмотьях нищего; с опасностью жизни пробирался пустынями до аулов своего народа, едва не истомился голодом и жаждою и плакал как дитя, когда прикочевал опять в родные степи свои, на простор, где ничто не замыкало перед ним окраины неба и земли, где услышал снова рычание верблю-

дов, мычание быков, бляение несметных стад овец и ржание, и конский топот.

«За что я буду жить хуже скота своего, — говорит кайсак, если вы его спросите, для чего он не терпит оседлости, — зачем мне жить хуже скота, которому больше воли, чем мне? Разве я отдам любимого коня своего урусу на конюшню, в стойло? Разве я хуже птицы, которая бьется в золотой клетке и просит воли? Кто прирос домом к земле, тот раб земли и раб людей; кто в полчаса может подняться, днем и ночью, со всеми пожитками своими, и идти на все четыре стороны, тот волен».

Оседлую жизнь кайсак почитает величайшим бедствием в мире, и одна только крайность может, и то временно, его к тому понудить. Если ныне стали много сеять хлеба на Илеке и на Сыре, то это доказывает яснее всего, что орда беднеет: здесь хлеб сеет только пеший, бесконный и нищий; а наменявши опять сотню голов скота, бросает соху и идет кочевать. Когда какое-нибудь бедствие разорит кайсака, лишит всего скота и сделает нищим, тогда он идет на Усть-Урт в сайгачники или через Мугоджары к линии нашей в сурочники и перебивается иногда много лет, покуда заработает себе небольшое стадо; только ближние к линии приучаются наниматься к нам в работники; старики и ребятишки охотнее идут в город за подаяннем и поют под окнами:

Руби дрова без топор,

Вари крупа без котел;

Хлебай каша без ложка;

Давай деньги немножка...

И прибавляют обыкновенно еще к этому плачевное и не совсем уместное для мусульманина: Христа ради!

Сайгачники ловят с неумолимым старанием сайг и меняют мясо их, семь, восемь, десять тушек на барана, таким образом снова обзаводятся стадом и прикочевывают опять к своим аулам. Сурочники питаются сами вонючим мясом сурка, а шкуры его меняют землякам своим или продают на линию. «Коли платить мне подать, — говорит кайсак, — так возьми с меня сороковину

скотом, и я волен; я заплачу под Троицком и пойду к Бухаре; заплачу в Ташкенте и прикочую к Семипалатинску; отдам, что следует, в Хиве, а на мену пойду в Сарайчик». Деньги для степного дикаря цены не имеют никакой; скот — его богатство, за скот свой он приобретает все, что ему нужно. Когда продали однажды в степи казенных верблюдов с молотка, то в торговом листе вместо известных двух граф: рубли и копейки, были выставлены козы и овцы: козлы и бараны. «Кто знается с деньгами, — говорят киргизы, — кто взял в руки деньги, тот куплен и закабален, тот себя продал».

Я сказал уже, что кайсаки начинают сильно заниматься хлебопашеством на Илеке, на Сыре и в других местах. Этому две причины: обедневшие через взаимные баранты или набеги, от губельной зимы с мокрыми буранами, жестокой стужи, от гололедицы и бескормицы, не находят другого убежища; но, во вторых, кайсакам нашим становится уже тесно. Кайсаков оренбургского ведомства, Малой и половины Средней орды, должно быть, по всем сведениям, более миллиона душ обоего пола; я бы сказал: взгляните на карту, если бы у нас была годная карта этих стран, и вы бы уверились, что выключкой безводных сухоглинистых пространств, — в коих и самые копани дают только горькую воду, — безводных песков, сухих и мокрых солончаков, останется удобной для скотоводства — не говорю уже для хлебопашества — земли не в избытке. Корм такого рода, как наша луговая трава, наше сено, бывает почти только у северных пределов степи, где, по-видимому, почва уже не так молода и успела покрыться небольшим слоем тука; далее видите один только жалкий ковыль, а еще южнее солянки и собственно, так называемое, степное прозябание, то есть не травы, а бурьян, полукусты, большею частью двухгодичные, — корм, над которым наша избалованная лошадь и скотина издохнет прежде, чем поймет, что этим хворостом можно питаться.

Повесть наша происходила в Малой орде, кочующей по южному и западному пространству степи, хотя пределы эти обозначить довольно трудно. Орда эта самая многочисленная.

В ней считается три рода (уру) или поколения: Буйуллы, (или Бай-углы — богатый сын), Алимолла и так называемые Семиродцы; роды эти делятся на отделения (таифэ), дробятся на подотделения (джак), коих наберется в одной Малой Орде едва ли не до трех сот. Названия их иногда взяты от собственных имен каких-нибудь родоначальников, как например: Назар, Гассан, Куломан, Караман, Каип, Тукумбет, иногда от разных предметов или понятий, как: Пеглюан — силач, Карасакал — черная борода, Сарыбаш — желтая голова, Алтыбаш — шесть голов, Кара-балык — черная рыба, Каз — гусь, Балта — топор, Акча — деньги, Крк-мултук — 40 ружей, Тюряляр — господа, дворяне, Аталыв — наместник, Тугуз — девять, Исян-Кильды — добро пожаловать и прочее. Есть племена: бусурман и кумыс. Иногда же названия эти взяты от страны или народа, что довольно странно, если не допустить, что кайсаки образовались от смешения разных племен и народов; вы найдете поколение: Кыргыз, Урус (Русский), Иштяк (Остяк, так, впрочем, азиаты называют башкиров), Туркмен, Чаудур (это же название носит обширное туркменское поколение). Черкес, Мугал (Монгол) и, наконец: Кипчак, Тибет, Китай, Туркестан. Алач-хан, по словам кайсаков, общий предок их, и это же общий уран или военный клич. Кричат они иногда при нападениях также *ура*, с полугласным, едва внятным «а» на конце; это слово татарское, повелительное наклонение глагола урмак — бить: бей. Очень замечательно, что некоторые поколения отличаются не только особым произношением, но и образованием лица.

Если вы спросите кайсака, не холодно ли зимой в войлочной кибитке, он ответит вам: «Спросите гуся, не зябнут ли у него ноги?» Заговорите с ним об удобствах оседлой жизни, и он вам скажет: «Туговому дереву хорошо расти в ханском саду, да я не дам закопать себя живьем в пояс, хоть бы и знал, что ноги у меня корни пустят, а руки сучья. Богатому всюду хорошо, а бедному везде худо; беда бедного та, что, покуда жирный исхудает, худого черт возьмет». Скажите ему, что грешно жить тунеядцем, что надобно работать — он вам ответит: «Нужда при-

дет, работа не уйдет: на голодного коня травы в поле много, на долгую твою работу дней у бога много».

Удивительно, до какой степени расходятся понятия дикарей, не выдавших никогда нашего образа жизни, с нашими понятиями. Степной кайсак хотел подарить чем-нибудь оренбургского гостя своего и предложил ему кибитку. Этот отказался, сказав, что он живет в городе, в доме. «И на лето не ставишь кибитки? — «Нет, не ставлю». — «А из дому в дом перебираешься иногда?» — «Случается». — «Ну, так возьми верблюда у меня, чтоб было на чем перетаскиваться». Один дикарь, завезенный в первый раз отроду случайно в Орск, хотел, забывшись, выглянуть из окна во время разговора, прободал стекло и разрезал себе лицо. Испуг его превосходил всякое описание. Когда один зажиточный армянин в Бухаре вздумал вставить в дверь свою, в караван-сарай, вывезенное из России небольшое стекольчатое окно, то не мог его никоим образом уберечь и защитить от разных проб и испытаний любопытной толпы, теснившей неперестанно у дверей, и окно было несколько раз выбито, от глупости и любопытства; армянин сделал опять глухую дверь. Киргизки обступили заезжего в глубокую степь русского путника и, ощупывая его со всех сторон, спросили с хохотом: для чего на нем такой чапан, который спереди не сходится, колен не закрывает, сзади хвостом и дает свободно поднять руки? Он отвечал: чтоб меньше сукна пошло. Бабы захохотали во все горло: «Дураки вы, дураки! кибитки, которые надобно разбивать только на сутки, строите каменные, будто в них век вековать; а платье, в котором надобно ходить бесценно каждый день, пьете узенькое!» Один башкир, наглядевшись уже более на быт наш, выразился осторожнее и только условно: «Либо русский человек больно умен, либо больно дурак; у нас одна лошадь тащит четырех баб, у них четыре лошади тащат одну бабу!»

Итак, вот народ, из частной жизни коего я хочу рассказать истинное и свежее происшествие. Народ этот, при всей грубости своего невежества и черствости души или сердца, по нашему образу чувств и мыслей, не лишен природою ни того, ни дру-

гого — ни чувств, ни мыслей. Послы, или выборные этого народа, сказали еще очень недавно, по случаю вражды двух смежных с ними и грозных для него государств, — послы эти сказали: «Мы рады покориться и сами ищем защиты; но дайте нам отца, который бы не только сек шаловливое дитя свое, а укрывал бы его также от обид и насилий; нам с двух сторон грозят плетью, и мать, и мачеха держат розгу наготове — а сосца не подает ни одна, его мы не видим!»

В словах этих есть и мысль, и чувство, есть более мысли и чувства, чем вы найдете во всей оседлой Средней Азии. Там одно ханжество, изуверство, скрытность, закоснелое невежество и хитрость; здесь природа еще всему господин, и только одна нужда и обстоятельства обращают иногда человека в скота.

Чумекейцы, принадлежащие к роду Алимолла и состоящие из 40 с лишком подотделений, кочуют по р. Кувану, Сыру, доходят летом на севере до Иргиза и далее, держась вообще караванных путей, потому что они завладели главнейшею частью извозного промысла между оренбургской линией, Хивой и Бухарой, и весь быт их, с давних времен, согласуется с этим родом жизни. Часть их зимует на реке Зеравшан, под Бухарой, а летует под Троицком, переходя ежегодно два раза пространство в 1500 верст. У них немного больших кибиток, а кочуют они в юлламах, дорожных маленьких и легоньких кибитках, легко укладываемых на одного верблюда; поднимаются легко и скоро, идут ходко и, получая плату за извоз серебром и золотом, знают цену его, но доселе не приняли от нас еще никаких предметов роскоши, за исключением *назбой*, что означает по-персидски: носовая пища, и что линейцами очень удачно переделано в носовой и означает нюхательный табак.

Чумекейцы, поколения Наурузбай, во время летней кочевки между Илеком и Темиром, сошлись с баюлинцами, с поколением Канык, отделения байбакты. Историк или сказочник Абул-газы Багадур-хан пишет, что прозвание Канык дано было во времена Чингиса или Тамерлана — не помню — первым изобретателем телег; телеги эти изобретены были воинами для ук-

ладки награбленного имущества; скрип их уподоблялся звуку: *канык*; изобретателям дано это звукоподражательное прозвание*, и от их поколения произошел какой-то народ *канык*. Если наши баюлинцы-потомки этого знаменитого механика, что весьма вероятно, потому что мы другого народа *канык* не знаем, то родословное древо этих изобретателей телег длиннее дышла и оглобли, и род их не уступит в древности ни одному роду немецких баранов.

Чумекейцы тянулись вверх по Илеку, на мену; баюлинцы вниз по Темиру, с мены. При этой ежегодной встрече те и другие навещали приятелей своих, разменивались новостями и прощались опять на год.

Тут отцы условливались с отцами о взаимной участи детей своих, выплачивали один другому мимоходом по уговору часть калыма, или по-русски: кладки, которая еще и доньне употребительна в некоторых местах России и уплачивается отцом жениха и родителями невесты. Тут молодые виделись несколько лет сряду, прежде чем наконец калым был уплачен сполна и свадьба сыграна. Кайсаки неохотно берут невест из своих аулов, щеголяют тем, что засватали девку в другом и отдаленном поколении, и никогда не женятся вскоре после помолвки, тем более, что нередко сговаривают девок еще детьми.

Между баюлинцами были старик Сакалбай и у него четыре сына — Полковник, Майор, Капитан и Поручик. Я называю всех их по именам — это не чины, а имена их — только по странности имен сих, которые даны были в честь русских чинов. Рассказа нашего касается один только Майор. Отец его, Сакалбай велел седлать коня, когда весть о прикочевании чумекейцев дошла на Темир; младшая жена его подвела ему коня, посадила его под мышку на седло, и он с двумя или тремя товарищами и с Майором отправился к чумекейцам, к давнишнему приятелю своему Кара-Сакал-батырю. День был теплый, но вершники наши нахлобучили корсучьи малахаи (тумак), под алым и синим сукном с галунами по швам; надели сверх халата по суконному

* Не от этого ли происходит наше русское *канючить*, как, вероятно, *татакать* от татарина, *казакать* от татарского *каз*, гусь?

чапану и второчили на запас по яргаку из жеребячьих шкур; лошади пошли с места ходко. Сакалбай ехал впереди, оборотившись, как магнитная стрелка, на урочище, где стояли аулы чумекейцев, повесил нос, покачивая слегка головою по ходу коня; и, спустив длинный рукав чапана во все кнутовище нагайки своей, постегивал задумавшись плетью набивные тебеньки седла. Лошадь не считала этого угрозой, не боялась по-видимому плети, а выступала ходко, полушагом и полуиноходью, удерживая постоянно данное ей сначала направление.

Майор ехал молча подле отца и дяди, подогнувши одну лопасть малахая в тулью, между тем как другая болталась и трепала его по щеке; почерневшая от летнего загара грудь была обнажена клином, почти до самого пояса; правая рука болталась отвесно как привешенная к плечу, а сам он то поглядывал на вычеканенное серебром правое стремя свое, то глядел прямо вперед себя, — и вдруг соскочил, покинул лошадь, которая остановилась в ту же минуту и стала щипать траву, побежал в сторону и ударил несколько раз каблуком в землю.

— Что там такое? — спросил Сакалбай.

— Зилан, змея, — отвечал Майор, подошедши к лошади, которая стояла на одном месте, как вкопанная, и сел, подвернув под себя на лету рукою полы чапана.

— Никогда не топчи ее ногами, — сказал отец, — и ничем больше не бей ее, как плетью. Ты знаешь, змея боится лошадиного поту, и ничем не убьешь ее лучше, чем нагайкой. Ты слышал был, что в старинные годы батырь башкирский, Клянча, убил не такую гадину, а огромного крылатого змея? Он победил его, напоивши саблю свою лошадиным потом».

Дядя, который уже несколько раз поглядывал путем на Майора, как будто бы хотел с ним заговорить, и сидел на коротких стременах бочком, подавшись всею левою половиной тела вперед за протянутою к поводу левою рукою, — дядя приподнял значительно угловатые брови и сказал с чуть заметною улыбкой: «На этой поездке, брат, тебе не найти *шамрана*, царя змей, так это было бы кстати».

Сакалбай испустил какой-то одобрительный возглас, и морщины от широких, выдавшихся скул собрались, сбегаясь в две связки по обе стороны рта его — что также означало улыбку, — а сын, Майор, спросил, догнав рысью опередивших его попутчиков: «Царя змей? а мне на что его?»

— Шамран, — сказал дядя значительно, поглядывая исподлобья на племянника: — шамран — небольшая белая змея, не длиннее плети твоей, с рожком на голове. Если встретишь ее, так расстели перед нею новый платок и прочитай молитву: она переползет через платок и скинет рожок свой, а ты возьми его бережно и спрячь. Где он лежит, всегда будет золото и серебро, и богат будешь на весь век свой; а на скотину падежа никогда не будет; хоть какая ни будь гибельная зима, твои овцы всегда целы. А теперь же подходит для тебя такое время, что скоро нужно богатство, скоро пора зажечь тебе своим домом: гляди, поведи-ка рукой, у тебя к завтраму уже и борода будет.

— Недаром же у него отец Сакалбай, — сказал замысловато сам старик-отец, то есть богатобородый, и, достав рожок свой из калты, покинул поводья, насыпал табаку на ладонь и, подкрепившись добрыми тремя напитками, продолжал, оборотясь к сыну. — Дядя твой умный человек, говорит правду; вот к полудню приедем, даст бог, к чумекейцам, к доброму приятелю моему Карасакалу; так оглянись помаленьку, покуда мы с дядей потолкуем со стариком! Мы поехали сватать за тебя дочь его, Майну.

— На что же вы меня повезли с собою? — сказал Майор робко, удерживая коня своего. — Что же я там стану делать?.. Мне там стыдно будет!

— Ничего, пустяки, — утешал его дядя, стегнув через руку плетью коня племянника, чтобы догнать его, — ты как будто и не знаешь ничего; тебе какая нужда? и ты приехал с отцом и дядей в гости, да и только.

Но Майор уверял, что ему стыдно будет, что он не может ехать сам на сватовство свое, и не шутя остановился.

Отец хотел было сердиться, но дядя упробил его ехать спо-

койно вперед, а сам, с другим товарищем своим, пустили Майора вперед себя и усердно погоняли сзади лошадь его. Таким образом, поезд подвигался вперед. Но когда через несколько времени аулы чумекейцев открылись издали по степному увалу Илека, и Сакалбай сказал: «Вот и приехали», то Майору до того стало стыдно, что он закричал вдруг: «Нет, не поеду, ни за что не поеду!» — стегнул коня плетью, пригнулся на луку и пустился, вырвавшись из-под конвоя, во весь дух домой. Отец горланил ему вслед, дядя с товарищем пустились было в погоню, но Майор ускакал, и те воротились со смехом и досадой, бранили его и бранили отца, зачем сказал сыну, чего совсем не следовало говорить, и этим только пристыдил его.

Бегство стыдливого жениха не помешало отцу и дяде кончить дело. Когда гости подъехали к кибитке Карасакал-батыря молодые парни, тут бывшие, увидели, что старики, хорошо одетые, приехали в гости, подскочив неуклюжим, размашистым бегом, подхватили их под руки как у нас барынь высаживают из кареты, приняли коней и, подтянув им головы под шею, намотали повод на переднюю луку седла, чтобы лошади выстоялись и не смели бы есть траву.

Карасакал-батырь принял гостей своих, поздоровавшись с ними рука в руку и в два приема к сердцу, как будто примеривал что-нибудь на аршин, посадил их в глубь кибитки, противу дверей; между тем хозяйка ударила уже веслообразною, с резной и расписной рукоятью, мутовкой в сабу, кожаный мех, наполненный кумысом, и налила три огромные миски; потом пошла беседа. Чумекеев рассказывал, что зима на реке Куване была благодатная, скот жив и здоров, что в Бухаре дают по полтора батмана проса за барана, что кипчаки два раза ходили на чиклинцев и угнали много скота, что правитель Ташкента требует пошлину с камышового моста и с паррома, которые устроены однородцами Карасакала, чумекейцами, через реку Сыр. Сакалбай жаловался на мокрые бураны, выюги, которые были на весну по нижеуральской линии, от Сахарной до Мергенева; этим бураном набивает мок-

рый снег в руно овец, и если после вдруг ударит мороз, то овцы гибнут; хвалился, что прошлую осень они при линии набили множество корсука, степной лисы, который валил валом, кочевал тысячами на север и зарывался только на день в небольшие корочки, забиваясь туда по два и по три;* что бараны на мене вздоржали, дают за годовалого по 8-ми пудов муки и по пяти папуш табаку, — и прочее. Наконец, под вечер, когда хозяин уже накормил гостей своих бараниной и отваром с небольшими в нем мучными лепешками и напоил кумысом досыта, дядя принял слово за Майора, между тем как отец его сидел чинно, потупив глаза, вздыхая от времени до времени и поглаживая реденькую седую бородку. Надувшись и приняв важную осанку, дядя сказал пренапыщенное похвальное слово хозяину, Карасакалу, и брату своему Сакалбаю; превозносил дружбу их, зажиточность, добрую славу, заключил из этого, что и дети их должны быть им подобны и друг друга достойны; потом стал насчитывать калым, который брат намерен дать за невесту, стараясь по обычаю умножить разными уловками счет голов; в первый год, говорил он, брат даст десять овец ягненных и двух коз — 24 головы; там трех жеребых кобыл — тридцать, и так далее. Карасакал-батырь слушал очень спокойно, поддакивая от времени до времени головою, и наконец заметил, что на третий, последний год, следовало бы отдать верблюда, и просил кроме

* Эта перекочевка зверя в иные годы дело очень замечательное, и на него, кажется, мало обращали внимания; я не говорю здесь о тяге и перелете птицы по временам года, о переходе сибирского оленя, степной сайги и кулана (дикой лошади), также по временам года, постоянно с одного места на другое; но разные животные в иные годы, без всякой видимой причины, являются вдруг в огромном количестве и тянутся постоянно по принятому направлению дни, недели и месяцы сряду. Таким образом в 1826 году шли раки из Ильменя в Ладожское озеро р. Волховом, день и ночь валили они несметным множеством, на ночь выходили даже на берег, так что солдаты набирали их четвертями, и начальство боялось вредных последствий, болезней от этого

того не требовать с него, как с походного чумекейца, большой кибитки для молодых, а обещал вместо этого подарить бухарский ковер. Толковали долго, наконец ударили по рукам и запили кумысом. Карасакал созвал всех своих — аул его состоял из шести родственных кибиток — и объявил им дело; потом уже позвал в общее присутствие дочь Майну.

Майне было всего годов 14; мать велела ей уже одеться, и она вошла в бархатном алом чапане с галунами, в конической шапочке, опушенной котиком, обнизанной и обвешанной бусами со стеклярусом, с коей висели по обе стороны длинные и широкие поднизи. Волоса, заплетенные в одну косу, и на первый взгляд почти одна шапочка эта только и отличала ее от мужчин, на коих были под исподом такие же халаты, сверху суконные чапаны того же покроя, остроконечные неуклюжие сапоги и голая шея. Но Майна подпоясана была по халату поясом, а чапан накинут сверху, тогда как мужчина опоясываются кожаным ремнем с карманом и другим прибором сверх чапана; кроме того, халат на Майне застегнут был на груди серебряной пряжкой.

«Баш-ур, — сказал ей отец, указывая на Сакалбая, — кланяйся: вот твой будущий отец, он тебя берет за сына». Потом велел ей пойти к себе и поклониться, повесил ей нагайку свою через затылок и читал наставления, как ей должно слушаться гостя и мужа.

Майна во все это время быстро глядела черными глазенками своими вокруг, останавливалась ими несколько раз с видом

множества раков и запрещало их ловить; так в 1820 году белка, веша шла огромными стаями с правого берега Волхова на левый, в Новгородской губернии: она столпилась на правом берегу в несметном множестве, ее били палками, ловили руками; потом показалась на левом берегу, пошла дальше, а в прежних местах почти исчезла вовсе. Так в 1836-м или 1837-м г. корсук осенью вдруг двинулся из южных пределов степи кайсацкой на север; киргизы преследовали его, били сотнями и тысячами, днем в норах, лесная стража, башкиры встретили его на линии, и били без пощады — он все-таки валил своим путем и потом вдруг скрылся, не подавшись далеко за линию. Был ли он уничтожен, или рассыпался и принял другое направление, не могу решить.

какого-то сомнения на дяде Майора, искала кругом — сняла и подала с поклоном отцу плетъ его, вышла, шагая почти по головам родичей своих, которые, усевшись по такому торжественному случаю чинно в кибитке Карасакала, заняли ее собой всю; а вышедши из-под запона, прикрывавшего двери, кинулась проворно к девкам и бабам, ожидавшим ее тут, пробормотала в один дух: «Который же это, который? Неужели старик, сидевший рядом со сватом? а более никого не видно было в кибитке».

— Коли стар, так богат может быть, — отвечали подруги. — Пойдем, сядем в кибитку свою, да подыдем кошму сбоку, увидим его в решетку, когда будет уезжать.

Карасакал-батырь отпустил гостей своих только в следующее утро, но Майна с подругами тем не менее провожала их, глазами из-за решетки соседней кибитки и указывала пальцем то на того, то на другого или третьего, полагая, что тот или этот должен быть ее женихом.

Когда Сакалбай с товарищами выезжал рано утром от чумкейцев, то в аулах их сделалась тревога: огромный степной пал, напольный огонь, шел при попутном ветре с юга, почти во всю ширину между Илеком и Темиром, верст на 60. Вершники скакали уже до зари осматривать это разливающееся огненное море, упущенное по неосторожности каким-нибудь пастухом или проходящею шайкой. Сотни кибиток сымались, навьючивались на верблюдов и вместе со скотом отправлялись через речку. Баюлинцы наши думали, что успеют доехать до своих аулов, особенно если прибавят шагу, но ошиблись в расчете: пал настиг их на перепутьи. Несколько времени принимали они все к северу, надеясь объехать огонь, но наконец увидели, что он их таким образом загонит слишком далеко. Они остановились, сошли с лошадей, вырубали и раздули огня и зажгли от себя траву. Это называется у нас: пустить встречный пал. Трава выгорела тут вскоре на большое пространство, и на нем-то путники наши расположились преспокойно ожидать конца и развязки. Пламя катилось на них с юга клубом, взмывая по кустам и бурьяну иногда в рост человеческий и расстилаясь ог-

ненным ручьем по низкому, объединенному ковылью; дым стлался вперед, огонь подвигался за ним почти с той же скоростью, как пеший ходок; чем ближе он подходил, тем слышнее был этот гул особого рода, который нельзя сравнить ни с каким иным шумом, разве только с отдаленным гулом взволнованного бурей моря. Огненный гребень или гряда эта, будучи в глубину не более сажени, простиралась в обе стороны уступами и зубцами, мысами и заливами, на необозримое протяжение. Когда она настигла путников наших, сидевших преспокойно на выжженном ими пространстве, спиною к набегающему на них палу, то она раздвоилась вокруг пожарища, где гореть было нечему, и прошла далее, а Сакалбай с товарищами сели на коней и поехали опять своим путем.

— Года тому четыре, — сказал Сакалбай, — когда я ходил вожаком с русскими на Тобол, так там ночью пал захватил кипчаков и аргинцев, и сгорело много скота и человек до 80-ти; кибиток погорело более сотни.

— Беда нам у линии сидеть, — сказал другой товарищ, — когда случится, что набежит пал. Это такое же горе, как и отравы сена и лугов, где разбирательствам нет конца. Тут думаешь, как бы самому чего не потерять, да чтобы скот уцелел, не охватило бы где гурт; а тут, глядишь, на следствие выезжают чиновники, да за душу тебя тянут. Слышал дядя, ага, — продолжал он: — прошлогоднее следствие, что приезжал косою да взял 8 баранов, да сказал: кончено все, — не кончено — ныне, говорят, опять будет он разбирать по горячим следам, кто пустил пал; а он уже с год, как простыл, и место давно травой поросло.

Приехав в аул свой, Сакалбай позвал тотчас сына Майора, и между тем, как байбича, старшая жена его, Сакалбая, наливала в миску взболтанный и взбитый кумыс, а младшая отпускала лошади его подруги и протираала ей глаза, старик, будучи в хорошем расположении духа, собрался трунить на сыном: сердце его уже прошло. И он начал так:

«Собака, чего лаешь? Волков пугаю. Собака, чего хвост поджала? Волков боюсь. Таков и ты, сын мой; за девками гоня-

ешься, а их же боишься; тебе бы жениться, да невесты не видеть. Сором, стыд! Глядите на парня, ведь он ребенок; что он смыслит? Он и сам еще красная девица; он не знает еще — жениться ли ему, замуж ли ему выходить, раздумье берет молодца, оттого и стыдится. А зачем же ты, полоумный, век с девками сидишь, коли у тебя и на это ума не стало, коли ты не знаешь еще, человек ли ты, или сам девка? А еще Майор! За что же я на тебя такой почетный уряд положил, коли последний хорунжий больше тебя смыслит?»

Майор сидел на корточках перед отцом, и между тем как все, кто был тут, хохотали, он закрывался тумачком своим, мохнатой шапкой, то с правой щеки, то с левой, смотря по тому, откуда на него заглядывали. Отец достал вдруг, не вставая с места, из-за пояса плеть, стегнул сына порядочно по плечам, и у Майора словно вдруг ноги выросли: вскочил и отпрыгнул, улыбаясь в сторону, почесывая выбритую, как ладонь, голову.

На другой день Сакалбай отправил с братом своим первый задаток калыма, девять тощих овец, и дядя Майора уверял Карасакала, что эти овцы все по два ягненка мечут и что тут верным счетом 27 голов скота. На вечер отправили жениха в небольшом поезде для знакомства с невестой: Майору некуда было деваться: разделся в отцовский жалованный чапан, взял с собою в запас два выбоичатых платка, золотник алого щелку и какую-то полинявшую ленточку. Со смехом и шутками выпроводили его из аула, а дорогою сваты или дружки, как их называть, старались подкрепить мужество Майора, который тяжело вздыхал, молчал и отирал пот с широкого лица своего, слушая поучения и наставления их, как действовать и как вести себя.

Жених прибыл к чумекейцам уже в сумерки; товарищи спроводили его толчками в кибитку Карасакала и говорили кой-что за него; он робко кланялся, прикладывая правую руку к сердцу и приняв руку старика в обе руки свои, не замечая, что вместе с малахаем своим стянул с головы и тюбетейку и стоял лысый, от бровей до затылка. Один из товарищей выгасил из-под мышки

жениха, из огромного малахая, тубетейку и насунул ее Майору на одно ухо. Уселись, пили кумыс, ели баранину, а о невесте еще не было и речи. Наконец, старик объявил, что пора спать, простился с Майором, и этого отвели в маленькую кибитку, юлама, в которой должно было произойти первое свидание его с невестой. Тут Майор встретил в дверях почетную стражу невесты своей, нескольких старух, которые принялись колотить жениха со всех сторон, приговаривая: «А ты зачем сюда лезешь? Тебе тут что нужно? Нешто тут твое место?»

Робкий и стыдливый Майор в эту решительную минуту собрал с какою-то необыкновенною моготою все духовные и телесные силы свои, кинулся, очертя голову, как иступленный, в толпу баб, сбил их, как разъяренный козел, ударом головы своей с ног, и прорвался под заповон кибитки, прежде чем те успели опомниться. Они подняли хохот и крик, грозили и требовали выкупа; Майор, оправившись немного, выкинул им из кибитки взятые им для этого безделицы; бабы еще с большим криком, шумом и смехом удалились, а он, Майор, стал осматриваться впотьмах.

Тундык, или по-русски: дымник, то есть верхняя полость кибитки, над обручем, в который упираются стрелы, был откинут: посреди кибитки чуть тлелся маленький огонек; а на цветной кошме сидела Майна, закрывая лицо правым локтем и отвернувшись несколько от той стороны, где стоял Майор. Сверху падал на нее белый свет луны и звезд, снизу разливался на алый бархат чапана ее красный свет огонька. На всех изломах и складках был двойной свет и двойная тень; огонек был так слаб, что не мог пересилить и лунного света.

Майора опять взяла робость; постояв немного, он и сам было накрыл глаза рукавом, но, догадавшись, что это слишком глупо, решился наконец поздороваться с невестой, но до того заблудился, что, вместо обычного приветствия женщинам, сказал ей подобострастно: селям-алей-кюм, пожелание, которое говорится исключительно единоверцам-мужчинам.. Майна захохотала и отвечала, не отнимая руки от лица, скороговоркой: «Я

тебе не брат и не дядя, или, может статься, ты ошибся и не туда зашел?»

Через полчаса, когда Майор наш уже оправился от всех недоумений и робости своей и сидел на кошме рядом с невестой и рука в руку с нею, бабы пришли стучать кулаками в кибитку и вызывать невесту домой. Она вскочила и побежала без оглядки; бабы приняли ее со смехом и шутками своего рода, а Майор, оставшись один, прокашлялся, потер гладкий подбородок свой, вышел взглянуть на погоду, увидел, что собираются тучи, накрыл дымник и лег спать.

Во сне видел он великолепную скачку, нескончаемую толпу народа, крик, шум, огромные миски крошеной баранины — словом, надобно полагать, что Майор во сне уже праздновал свадьбу свою; но он мгновенно проснулся от страшного топота конского; ему казалось, что тысячи всадников неслись прямо через него. Проснувшись, Майор простонал: аллах-керим, — но долго не мог опомниться; стук, гром, крик и шум всякого рода окружали его. Тут было вот что: нашли тучи, сделалась ночью страшная гроза. Кайсаки объясняют явление это так: шайтаны, черти, громоздятся друг на друга елкой, пирамидой, чтобы вылезть из преисподней на небо. Аллах поражает их стрелой, и они с шумом и треском рассыпаются. Вот вам сказка о титанах. Разбежавшись, они ищут спасения, прячутся за первый встречный предмет, охотнее всего за человека, которого Аллах в милости своей, обыкновенно щадит: но, разгневавшись, он посылает стрелы на шайтанов порознь, и тут нередко шайтану удастся отвести от себя стрелу на человека. Для этого-то кайсаки поднимают во время грозы страшный шум и стук, бьют в тазы, котлы, чашки, миски, пугают и гоняют всеми средствами шайтана. Так персияне, приписывающие ужаление скорпиона также проискам шайтана, выгоняют его из военных станов, таборов и становищ своих молитвой и хлопаньем в ладоши. Во время походов персидского войска стан их каждый вечер оглашается дружными плесками в ладоши целого победоносного воинства.

Этот-то шум и стук, заглушаемый от времени до времени раскатами грома, поднял на ноги нашего Майора. Опомнившись и почесав затылок, он сел, подвернув ноги и улыбаясь самодовольно, протвердил на память, то мысленно, то вполголоса и с легкими телодвижениями, все, что происходило вчерашним вечером, и поглядел искоса подле себя на то место, где сидела Майна. Гроза миновалась, и товарищи Майора пришли к нему еще до свету с уведомлением, что жениху пора ехать домой, иначе придется сидеть в кибитке еще сутки; днем выезжать и показываться в люди нейдет ему, надо убраться затемно.

Вскоре чумекейцы подвинулись далее вперед, баюлинцы потянулись на юг и к нижней линии нашей; жених с невестой простились по крайней мере на год, потому что обратный путь чумекейцев, по другую сторону Илека, пролегал слишком далеко от кочевья баюлинцев.

Баюлинцы, которые, как и все племена кайсаков, кочуют в известное время года по известным пространствам, очищая место другим и приближаясь осенью к зимовью своему, подошли спокойно, идучи все вверх по Уилу, к нижней линии. Сакалбай послал двух сыновей своих, Майора и Капитана, в Сахарную с гуртом овец на мену. Казаки, которые говорят здесь все так же бойко по-киргизски, как и Майор наш с Капитаном, обступили кунаков своих, гостей или приятелей, забрасывали их целым потоком речей со множеством прибауток, стараясь уторговать овец подешевле; кайсаки наши боялись продешевить, кричали взапуски и отстаивали товар свой. Казаки хватали баранов за курдюки и тащили их к себе; киргизы перетаскивали их за рога опять на свою сторону; безответные бараны ревели, и бляение их заглушалось криком обоюднo договаривающихся приятелей. Капитан между прочим вздумал похвалиться казакам, что брат его, Майор, жених; Майор прибодрился при этом и вытянулся, полагая, вероятно, что уральцы, ради поздравления, уважат ему, прибавят цены. Но уральцы повернули делом и уверили Майора, что ему не годится же теперь, как жениху, ездить на такой клячонке, предложили выменять у казака, по

дружбе, тотчас же доброго коня, отдав своего и еще пять баранов на придачу. Не ожидая ответа, казаки стали разглядывать, водить, щупать лошадь Майора, стараясь захаять ее и сбить ей цену.

— Конь добрый, — сказал один, — что и говорить, у иного, чай, плеть живет дороже. Снимай, брат, шкуру, да продавай.

— А который ей год? — спросил другой.

— Первый после прошлого, — отвечал тот, — первая голова на плечах и шкура неворочена.

— Гоу! Врете вы, — отозвался Майор, — конь с песков, на Тайсуйгане вырос, скоро зубы съедает; это дело ведомое: что хватит травы, то и песку в рот.

— Знаю, знаю, как не знать, — принял опять тот. — Я вижу, что съел; он и глядит, словно не солоно хлебал. У кого бабушки во дворе нет, годится, держать можно.

Словом, не дали Майору опомниться, как переседлали, посадили его на казачьего коня, назвали молодцом и стали рассчитываться. Но Майор с Капитаном объявили казакам, что отец велел им привозить весь запас хлеба, сколько выменяют, сполна, и потому не решались отдать баранов за лошадь. У казаков и за этим не стало дело; они уладили все: они лошадь в долг не дали; зачли за нее, что следовало, а отпустили кайсакам на кутарму, в долг, сколько тем нужно было, муки, с тем, разумеется, чтобы только к весне поставить за нее овец с процентами, каждую с ягненком. Майору с Капитаном сделка показалась очень выгодною, и они, простившись дружески с уральцами, отправились домой.

Неустойки казаки не боялись: здесь о сю пору, без векселей и расписок, долги платятся гораздо исправнее, чем там, где они пишутся на гербовой бумаге. Знаете ли, как безграмотный уральский казак страшает и грозит должнику своему, если этот не уплачивает ему в срок долга? Он приходит к нему на дом с биркой, на которой нарезан долг, рублями и десятками, то есть зарубками и крестиками, и пришедши с биркой и с ножом, говорит должнику: «Эй, брат, отдай чужое — эй, отдай: гляди, сре-

жу, право, *срежу!*» И этого слова, этого бесчестия уральский торговый казак боится: срезать долг с бирки, значит, уничтожить его, не считать его и долгом, потому что нет надежды его получить. Это было бы то же, или еще хуже того, как если бы кто-нибудь вздумал вынести на биржу вексель первостатейного купца и разорвать его при сотне свидетелей.

Итак, Майор привез в аул свой хлеб сполна и приехал еще на знатной лошади — и был доволен; но не так думал старик Сакалбай, потому что Майор привез с собою и долг. Старик рассердился, прогнал Майора, и только на третий день взглянул украдкой на новую лошадь его. «И ты не видишь, — сказал он, — что это выкормок хлебный и больше ничего? Казаки говорят, что наша степная лошадь — травяной мешок; а за что? От овса, правда, рубашка под телом закладывается, лошадь не толста, да плотно живет; а это выкормок, только на то и ходили за ним, чтобы обмануть такого дурака, как ты. За это вот тебе: я на весну не выплачу Карасакал-батырю ничего калыму, пусть еще год пройдет, а ты дожидайся; авось, поуменеешь. Теперь еще больно глуп». Стыдно стало Майору и досадно, да нечего делать; отошел молча и понурил голову.

Таким образом, тот же казак, который верил киргизу на слово в баранах до весны, который счел бы величайшим для себя бесчестьем, если бы товарищ к нему пришел с биркой и сказал бы: *срежу*, — тот же казак ни на минуту не призадумается обмануть кого бы то ни было, продав негодную клячу за доброго коня. «Разве у него глаз нету? — спросил бы он, вытаращив сам на тебя глаза. — Нешто он затылком глядел?» И так же точно кайсак с своей стороны пригонит и передаст счетом долговым овец своих, как сделал в свое время и Сакалбай наш, но если будет случай — придет и украдет их опять и угонит. «Разве я ему пастух? — скажет он. — Для чего не смотрит за добром своим?»

Между тем как это делалось на юго-западе, у баюлинцев с уральцами, на северо-востоке, против Орска, куда прикочевали на мену чумекейцы наши, происходило другое. И баюлинцы жаловались уже, как мы слышали, на следствия по степным

палам и потравам, — а чумекейцы встретили, не ожидая того, недалеко от линии также следователя. Дело было запутанное и завязалось по доносу таможенного чиновника, по доносу о беспошлинном, тайном провозе некоторыми караванбашами разных товаров, и по жалобе бухарских купцов на какие-то притеснения по расчетам с возчиками. Все это было спутано вместе, и переписка шла по трем, четырем ведомствам, неутомимая. Искали тут какого-то общего, огромного злоупотребления, и чиновник был прислан издалика произвести строжайшее следствие.

Великий муж этот, со своими понятиями о *деле, делопроизводстве и следствии*, выехал в сопровождении помощников и небольшого отряда с девятью стопами бумаги навстречу чумекейцам. Он собирался, как видите, пустить в свет девять томов, столпов, или *топ*, как сам он их называл. Чумекейцы, не чуя никакого горя, врезались прямо навстречу нашему бессребреннику; разбирательство началось огромное, по множеству прикосновенных свидетелей и вовсе посторонних, которые однако же все, для полноты дела, должны быть опрошены. Кайсаков водили в ставку следователя ежедневно десятками; между тем было задержано под караулом еще очень немного: кто только полагал, что дело его может коснуться, убирался заблаговременно в чистое поле, а Алексею Федоровичу приходилось поневоле оставлять в деле много пробелов. Аулы чумекейцев раздумали идти на мену, начали все понемногу отступать, под предлогом недостатка корма для скота. Алексей Федорович подвигался с ними, не допуская никаких насильственных мер для удержания их: он был враг всяких притеснений; чумекейцы отправляли каждую ночь табуны и стада свои, баб и детей, все далее назад, и дело кончилась тем, что, не исписав еще и третьей стопы, Алексей Федорович в одно прекрасное осеннее утро увидел себя с небольшим отрядцем своим на месте ночлега одного; на всем видимом пространстве не было ни одной кибитки, ни скотины, ни человека — и он, надивившись досыта, возвратился благополучно на линию, с трофеями своими, с двумя

задержанными уже прежде, по прикосновенности их, кайсаками. Товарищи покинули их, а сами убрались на простор, шли, сколько сил было, все дальше в степь, нагоняя друг друга, как могли и успевали. Такое бегство иногда совершается в порядке, если успевают забирать с собою все имущество, не быв настигаемы неприятелем; но иногда киргизы бегут при нечаянном нападении на них в таком страхе и с такою поспешностью, что не только покидают кибитки свои, рогатый скот, баранов, угоняя одних лошадей и верблюдов, но бросают даже старух и хворых стариков, грудных детей, врываюи в землю по уши чугунные котлы свои, налив их молоком или кумысом.

Когда только часть чумекейцев успела перейти вершины Илека, направляясь через пески Барсуков к Сарычаганаку и Сыру, они на поспешном бегстве растянулись, растерялись, и какая-то шайка семиродцев, из числа таминцев, ходившая по своим счетам на баранту к аллимолинцам и именно к тляу-кабакам, на вершины Эмбы, наткнулась случайно на табуны чумекейцев. Такой удобный случай упустить было грешно, и шайка захватила, что могла. Тут были также лошади Карасакал-батыря: он оставил аулы свои, выждал задних, набрал с сотню удальцов, пошел в погоню за шайкой, но не нагнал ее, а, нашедши по реке Уилу другие аулы, разгромил семиродцев, которые может быть не знали о походе и удачном поиске земляков своих, чумекейцы наши в свою очередь удовлетворили себя тем, что могли захватить тут, и поспешно ушли вслед за аулами своими, угоняя добычу; миновав же благополучно Барсуки, Каракум, а наконец и самую реку Сыр, они расположились там на зимовье.

Вот похождения чумекейцев в эту осень, от коих зависела, по-видимому, судьба наших молодых, нашего приятеля Майора и 14-летней Майны. Эта часть чумекейцев, поколение Наурузбай, к коему принадлежали аулы Карасакал-батыря, опасаясь поисков с линии по неоконченному следствию Алексея Федоровича, поссорившись с семиродцами, которые занимают большую часть западной степи, и опасаясь мести их, не смела

показываться в их соседстве, не только при линии, и потому рассудила остаться на несколько лет за рекою Сыром, кочуя в камышах, лугах и топях между этою рекою и другим рукавом ее, Куваном. Угроза Сакалбая — не выплатить на другую весну калыма за Майора и заставить его обождать с год, в надежде, что авось-де он поумнеет, не только исполнилась сама собою, потому что баюлинцы не имели никаких сношений с отдаленными наурузбайцами, но прошло целых три года, в продолжение коих не более трех раз была какая-нибудь весть через хабарчиев, вестовщиков, приезжавших случайно с караванных путей, весть от Карасакал-батырья, что он-де жив и здоров и поставил под караван столько-то верблюдов, — а о Майне ни слова. Майор ожидал спокойно, чем судьба его решится, когда придет пора его, и скоро ли он поумнеет, и затягивал иногда высоким строем и тоскливым напевом песенку в память Майны; и сам Сакалбай поджидал с весны на осень, с осени на весну, не кончат ли дел своих наурузбайцы и не пойдут ли они к линии обычным своим путем. Но три года прошли, а их не видеть. Надобно бы думать, что они жили там спокойно, что их никто не трогал и не обижал, коли они там оставались, — но это было не совсем так; на Сыре и Куване хивинцы приняли чумекейцев в ежовые рукавицы свои — брали все, что хотели, били их, даже убили несколько человек, — не производя никаких следствий и не сажая никого под караул, а и того менее в острог, а рассчитывались всегда на месте, и чумекейцы оставались спокойно на своих кочевках. Сборщики податей приезжали, требовали сороковину, выбирали в счет закята, подати, лучший скот, брали еще что им нравилось, бесчинствовали; наурузбайцы иногда, вышед из терпения, сопротивлялись — тогда хивинцы принимались за расправу, били и резали около себя, кого могли первого захватить, — остальные все винулись, отдавали, что хотели взять с них, и тем дело было кончено. После расправы бежать поздно, да и не для чего.

В Хиве и Бухаре одно только торгующее сословие знает грамоте; чиновные и должностные пренебрегают всяким ученьем,

и уверяют, что им некогда заниматься пустяками: они только умеют воевать и управлять. В пример, как они умеют воевать, они рассказывают вам сохранившиеся еще по преданию сказки о Чингисе и Тимуре, и все это принимают лично на себя, будто они сами сделали все это вчера или сегодня. Но это в сторону: я хотел только сказать, что купцы азиатские все почти знают грамоте, и главное — уметь писать; все красноречие письменного слога состоит у них в необъятной напыщенности, громком и важном пустословии, которому позавидовали бы французские классики прошлого столетия. Карасакалбатырь не надеялся сойтись когда-нибудь с баюлинцами; сношения с сватом были прерваны, по-видимому, навсегда или надолго; дочь подросла, два, три жениха напрашивались — что ее держать? лучше взять калым да отдать с рук. Карасакал действительно просватал Майну за дюрт-каринца, нынешнего соседа своего, получил уже часть калыма и, воспользовавшись дневкой проходившего каравана, пригласил к себе грамотея, напоил его кумысом, накормил салмой и заставил написать письмо к Сакалбаю, старому приятелю, с которым ссориться не хотел, — о нынешних своих обстоятельствах. Кончив письмо, грамотей стал читать его вслух:

«Точка воззвания излагает недостойное почтение свое на странице уважения: раб праха стоп ваших, употребляющий прах этот вместо сурьмы к бровям своим, просит от Всевышнего на долю нашу счастья и благополучия, в честь и славу великого посла Аллаха (да будет чтима память его), просит со слезами и отдавая на жертву за вас себя и своих, чтобы вы вечно восседали на престоле исполнения всех желаний своих. И если исполнится молитва наша, то мы, нижайшие рабы ваши, пишем ныне к знаменам веры, повелителям на престоле судеб, собирателям святых пророческих преданий, рудникам познания истинной веры, светильникам просвещения, ходящим по сирату*, столпам правды, обладателям великих почестей и совершенства. Да будет ведомо вам, что судьбы Всевышнего к нам

* Мост, ведущий в рай.

непримиримы; тщетно надеялись мы на молитвы ваши, видно, вы нас забыли. Всемерно желая исполнить данное вам слово, мы терпеливо переносили бремя налегающих на нас лет, тем более, что дочь наша Майна еще только подрастала. И теперь не желаем мы воспользоваться задаром приношением вашим, хотя великодушие сердца вашего нам вполне известно; нет однако же средств возратить вам уплаченный вами отчасти калым; идти в вашу сторону мы не смеем, потому что мы в войне с семиродцами, и русские считают за ними *следствие*.^{*} Посему, призывая бога на помощь и не отчаиваясь по милости его удовлетворить вас со временем, мы рассудили принять калым от любезного нам ныне, в плачевной юдоли нашей, султана Беркута сына Юлбарсова, имеющего пребывание в роде Дюрт-кара, от устья рек Сыра и Кувана до озер Аксакал-бабры и далее; белая кость султана Беркута несомненна, но я бы не променял на нее более мне любезной отрасли вашего почтенного племени, коим славится вселенная, хотя султан и прислал мне в первую осень задатку 40 овец и семь коз ягненных; я не принял бы и этого, если бы неумолимая судьба не разлучила нас с вами навсегда, не внемля моим грешным молитвам и не слыша от вас памяти об нас, недостойных».

— Оу! берекалда, берекалда! — закричал Карасакал-батырь, когда, стянув губы в жемочек, подняв высоко брови и вытаращив глаза, дослушался до конца письма, — прекрасно, превосходно!

Письмо это шло до места назначения своего, до Сакалбая, месяцев пять, но наконец дошло-таки исправно. Оно пришло с караваном в Орск, там было передано каргалинскому татарину, который выехал на мену ни с чем, в легонькой порожней телеге, в которой лежали: самовар, подушка, аршин и безмен — и только, а возвращался, разжившись бог весть с чего, в повозке с верхом, в лапчатом лисьем тулупе, растянувшись на перине, и пил дорогою чай ровно пять раз на день. В Оренбурге

^{*} Слово это, как техническое, было написано татарским письмом по-русски.

письмо передано было на меновом дворе каким-то кайсакам, ехавшим с меня в степь, и наконец, через десятые руки, застав Сакалбая против Сахарной, вручено ему исправно. Но этого мало: надобно было прочесть его: и тут прошло с неделю времени, покуда собрались да нашли грамотея. Старик сначала слушал, нагнувшись вперед, уставив глаза на бумагу, улыбаясь и поглаживая бородку; он заставлял повторять каждое слово, каждую строчку, указывая пальцем невпопад на бумагу, тешился и был доволен. Когда же поклоны и пожелания кончились и дочитались до дела, то Сакалбай наморщился, подперся локтем и молча отдувался. «Старый плут! — сказал он наконец, когда все письмо было в десятый раз перечитано и растолковано. — Старый плут! А бараны мои за ним пропадут? Разве я на то выплатил ему по уговору задаток калыма, чтобы он ушел в Дюрткаринцы и сидел там, да отдал девку за султана? Шайтан его возьми, султана! Кто ему велел отбивать чужих девок, да еще и сосватанных?»

Майор принял весть эту, по благодатному телу-и духосложению своему, как казалось, довольно равнодушно; он, в течение трех лет, привык уже к тщетным ожиданиям, и, не зная, что отвечать на весть эту, молчал и глядел в землю. Но ему стало больно надоедать насмешками, не давали ни проходу, ни покою; а отец грыз ему голову, попрекал, что потерял за него столько-то баранов; бранил, что он не хлопчет о невесте своей, страдал, что не станет сватать за него другой, хотя бедному Майору нечего было делать, как слушать и молчать.

Клинообразная равнина между реками Сыр и Куван принадлежит к плодороднейшим пространствам степи. На север от Сыра расстилаются пески Каракум, на юг от Кувана совершенно безводные, на пяти днях ходу, пески Кизылкум, а тут, в середине, сочные, зеленые дуга, перемежающиеся изреда песчаными и красноглинистыми полосами, по коим рассыпаны горькие, соленые и пресные озера; копани или колодцы все мелки; вода есть на каждой точке, но только под песчаной почвой пресная, а в глине горькая. Ближе к морю солончаки, топи и необозри-

мые камни. Всюду рассыпаны лесочки саксаула хрупкого, жесткого, тяжелого дерева, которое дает лучшее топливо. Здесь кочевали наурузбайцы; передвигаясь туда и сюда, вниз и вверх по Сыру и по Кувану. Майне было уже лет 16; как в первый раз отец просватал ее, не спросив ее совета или согласия, так и в другой; но она уже знала и видала несколько раз султана Беркута Юлбарсова, и выбор этот был не по ней.

Беркут, то есть орел, сын Юлбарса, то есть тигра, как у нас говорят обыкновенно, или по-русски, бобра — это громкое имя и прозвание; царь пернатых и первый за львом сановник и вельможа четвероногих. Но султан, в том виде, по крайней мере, как он был ныне, вовсе не отвечал собою на громкое имя свое: ему было за 60 лет; дряхлый, ничтожный старичишка, женатый на трех женах, вздумал он жениться еще на четвертой, и избрал Майну, которая ему приглянулась. Он знал на память две, три молитвы из корана, разумеется не понимая их; твердо помнил наизусть все 14 колен родословного древа своего от Чингиса и утешался твердой надеждой, что в нем по крайней мере поколение знаменитого завоевателя не прекратится, потому что произвел на свет огромный аул наследников: семнадцать одних сыновей, не говоря о внучатах. Дочерей он не считал: это товар для сбыту, больше ничего. Но Беркут жил между дюрт-каринцами без имени и весу, и отличался тем только от прочих кайсаков, что ему говорили: *таксыр**. Сам он был собою очень доволен и знал все: так например, когда один караван-баш попотчивал султана на дневке чаем, которого этот отродясь не видывал, то Беркут Юлбарсов не хотел показать даже и в этом деле невежество свое, а сказал, прихлебывая: «Знаю я чай этот, знаю — его делает какая-то птица, комар ли, оса ли; только он жидок что-то у тебя и не сладок». Из этого надо догадываться, что султан слышал когда-то и что-то про мед, который пьют с чаем, и, полагая, что его потчуют медом, находил его жидким и несладким.

* Так чествуют султанов: благородие, сиятельство.

Как бы то ни было, но вот он жених Майны. Деваться ей от него некуда, согласия или несогласия никто у нее не спрашивал. Она умоляла отца, говорила: «У меня есть жених; ты же сам меня просватал, ты велел нам слобиться — разве бывает у девок по два жениха? Это стыд и позор перед людьми! Я, воля твоя, своего не покину. Что мне до султана Беркута — мало ли стариков таскается по белому свету, так разве они все мне женихи?» Но никто не слушал Майны, и дряхлый старичишка, разодевшись женихом, приезжает, по обычаю, как двадцатилетний Майор четыре года тому, на тайное с невестой свидание. Свидание это решило все: истощав слезы и просьбы у отца, она твердо намерилась бежать за Илек и Темир, к баюлинцам, отыскать своего Майора и тем отделаться от Беркута.

Решиться было ей не трудно, но как исполнить это, как уйти и достигнуть благополучно обетованной для нее страны, через 800 верст голодной степи, и как исполнить это девке, одной, когда такая поездка, через тысячи опасностей, устрашает иногда и порядочного мужчину, кайсака, который, пускается в путь с большими предосторожностями и соображением? Но Майну, легкомысленную, скорую, бойкую и предприимчивую, все это не устрашало; она начала тайно готовиться в путь и приискивать себе в мыслях товарища.

Во-первых, она заготовила понемногу запас дорожной пищи, то есть круту, сушеного сыру; и это ей, занимавшейся хозяйством отца, было не трудно. Она откладывала день за день несколько комочков, а ночью уносила и зарывала в одно место в песок. Затем высмотрела она себе пару добрых коней, в табуне отцовском, и братний чапан, тумак, пояс и оружие: она хотела одеться мужчиной. Случай этот тем любопытнее, что он не выдуман, что рассказ этот заключает в себе одну только истину.

Потом Майна стала искать себе попутчика и вожака; она не знала мест, и одной пуститься в такой путь было слишком опасно. Тут предстоит нам вывести перед читателями новое, также действительно бывалое лицо.

У Карасакала жил уже года два работник, пастух, безрод-

ный дюрт-каринец, за насущный хлеб. У лошади, на которой он пас табуны хозяйские, голодные верблюды отъели зимою хвост по самую репицу, и кляча стала куца. На ней-то бодро разъезжал молодец наш, стогняя стада грубым, сильным и диким голосом своим, и сам получил за это прозвище куцего. Ему было лет за 40; крепкого, здорового телосложения, был он, особенно в своей одежде, урод, на которого нельзя было смотреть без смеху. Ростом не велик, в плечах широк, с коротенькими ножками, огромной головой и еще огромнейшими ушами, подслеповатыми глазами, представлял он собою живой бурятский кумирчик, как отливаются они из меди или фарфора. Широкие костлявые скулы давали уродливой голове его точный вид нашего самовара, где уши вершка в три, отставшие от головы, представляли, как нельзя лучше, ручки. Беспреданное усилие раскрыть глаза пошире — Куцему нашему не помогало; находясь на плоском, как доска, лице, в уровень со скулами, глаза у него, казалось, были чужие, вставлены только на смех, и веки над ними по углам защиты — оттого «самовар» и моргал ими беспрестанно, тщетно стараясь проглянуть. Нос под широким лбом, где морщины лежали во всю длину, толщиной в добрый палец, нос казался какой-то замысловатой постройкой, горбом и крючком; усы у Куцего были кой-какие, почему и говорили люди; что у него под носом взопло, хоть в голове и не засеяно, — а вместо бороды, не боле семи или десяти волос, вершка в три. Губы средней толщины, но рот решительно по уши. Когда Куций объяснялся, как обыкновенно с большим жаром, растарачив пальцы, нагнувшись всем телом вперед, выпятив на четверть подбородок, поматывая головой и давая полную свободу выразительной игре мышц, или лучше сказать сухожилия на лице своем, то вы видели перед собою волчью пасть необъятной глубины, настоящую пропасть, перед которою голова кружилась; она смыкалась и разверзалась перед вами с быстротою молнии, и вы видели в ней все, до самого дна, почти до самого желудка, и могли пересчитать 32 белых и здоровых зуба, ни в чем не уступающих самым

отборным волчьим зубам. К этому остается только еще прибавить, что Куцый лето и зиму ходил в одном платье: в нагольном косматом тумаке или малахае, — который превращал и без того уже несоразмерно большую голову его в пирамидальную гору — в стеганом полосатом халате, покрытом до последней нитки заплатками всех цветов и родов — шелковыми, бязевыми, ситцевыми, суконными, наконец, кожаными и меховыми. Лучшее место на халате был лоскут алого сукна, с ладонь, положенный на спине, между лопаток: тут была зашита спасительная молитва, которая, однако же, не спасала Куцего от частых побоев толстою плетью по этому же самому месту. Халат, чтобы не безобразить стана, закладывался раз навсегда полами в широкие кожаные шаровары и вздувал их, спереди и сзади и с боков, горою: штаны суживались по ногам клинообразно и оканчивались немного ниже того, где начинались голенища, то есть вполголены Куцый обрезал их на четверть, употребив обрезки на заплатки и рассудив весьма основательно, что внизу, где уже есть около ноги голенище толстой юфти, коже болтаться не для чего, она изнашивается без всякой пользы. От всегдашней верховой езды ноги образовали у Куцего, каждая, почти полукружие; и если каблуки сходились вместе, то колено было от колена еще как Москва от Питера. На ходу Куцый переваливался каким-то носорогом, растарачивая пальцы, продирая усиленно глаза и упираясь в обе стороны на воздухе ладонями, чтобы сохранить по возможности равновесие.

Куцый служил шутом или дурачком для всех кочевых обитателей целого пространства между Сыром и Куваном; никто, ниже последний мальчишка или девчонка, не могли с ним сойтись или встретиться, не захохотав и не подняв его на смех. На все пиры звали Куцего, потому что он был плясун и тешил зрителей ломкой и пляской своей, среди знойного азиатского лета, по несколько часов сряду, не снимая ни теплого халата с плеч, ни мохнатого малахая с головы. Общественной пляски у азиатов почти нет: плясуны у них то, что у нас фигляры. Слабость нашего Куцего были женщины, женитьба; он еще был холост,

как бедняк и дурак; но охотнее всего говаривал о сватовстве, и, вызвавшись в сваты к нему, можно было сделать из него все, что угодно. Он становился среди чистого поля на голову и стоял так полчаса сряду, поматывая и поддегивая замысловато ногами, если какая-нибудь баба его о том мимоходом просила, и был поручением этим всегда очень доволен. Другая слабость Куцего была ненасытная утроба его, и шутка, на которую в былые времена еще с ним пускались, заставив съесть в один присест целого барана, обглодав все косточки, с уговором получить 500 плетей, если чего не доест, — шутка эта давно уже потеряла всякую цену и вышла из употребления: не было во всей степи дурака, который бы кинул ему барана ни за грош: Куцый был так неосторожен, что съедал каждый раз барана, как наш брат перепелку, и не дал, к неудовольствию зрителей, высечь себя ни разу; напротив, он облизывал пальцы, высасывал косточки и жаловался, что его обманули, что баран этот верно еще не переогодовал. После такой проделки, Куцый ложился, как случалось, кверху брюхом или кверху спиной на солнце, накрывал голову малахаем своим и спал сутки, двое или трое, вставая только по разу в день, чтобы выпить миску воды с наше русское ведро.

На этом-то сокровище Майна основала все надежды свои: здоров как бык, довольно глуп и бессмыслен, чтобы заставить его умеючи сделать все и поверить всему, снабжен от природы достаточным чутьем и памятью местности, чтобы служить вожаком по таким местам, где ему, однако, на веку своем быть случалось, — все эти соображения не обманули Майну, и выбор ее был удачен. Этого уroda душой и телом уверила она, что страстно в него влюблена, а как отец, конечно, никогда не согласится отдать ему ее, то и предложила, как одно средство и спасение, бежать с ним к прежней линии нашей, под защиту русских или султана-правителя. Молодец наш давно слышал от сотни людей, которые вечно над ним трунили, что на нем лежит большой чин, а потому и поверил охотно, что девка скорее согласится выйти за него, чем за Майора или за старика Берку-

та, в сравнении с коим Куцый считал себя красавцем. Он увидался с этой минуты украдкой вокруг Майны и от ласк его спасала ее только остратка: «Отвяжись, леший, не ходи за мной хвостом, а то люди сметят да скажут отцу, и он тебя прогонит». Для подкрепления ж в нем веры и надежды, она позволила ему раза два украдкой поцеловать руку свою; не знаю, случалось ли когда-нибудь прежде и после этого, что влюбленный кайсак целовал руки своей возлюбленной.

Приготовив все и выбрав темную осеннюю ночь, Майна выползла из семейной кибитки, унеся с собою подготовленный ею с вечера братний чапан, малахай, сайдак со стрелами и луком; разбудила спавшего под *собачьим хребтом** Куцего, прокралась вместе с ним к табуну; здесь взяли они на выбор, из коротко знакомых им отцовских коней, каждый по паре и оседлали их; Майна второчила свой запас крута и кумыса; Куцый припас для себя также оружие: огромный семиаршинный шест, заостренный на конце копьеобразно; и с этим деревянным *копьем*** , рыцарь и герой наш пустился смело ратовать с судьбою и людьми за обожаемую им красавицу.

Путь лежал перед беглянкою не малый и вовсе не безопасный. День доброй езды до реки Сыра, потом надобно переплыть реку, там три дня песками Каракум, три дня песками Барсуков, сутки солончаками до Эмбы и еще двое-трое суток, по обстоятельствам, до аулов баюлинцев — всего восемь, девять дней и почти столько же сотен верст, и все это надобно проехать украдкой, тайком, чтобы други не нагнали, недруги не встретили, и никто не заподозрил. Надобно ехать ночью, с большой огляд-

* Ит-арка, собачий хребет — составленные на скорую руку шатром две кибиточные решетки и накрытые кошмой.

** Подобных рыцарей деревянного копья можно нередко встретить за Уралом: идучи на один только грабеж и угон скота, кайсаки избегают по возможности убийства, за которым уже всегда следует сложная и большая вражда и расчеты, а потому нередко довольствуются шестом вместо копья, чтобы только спихнуть всадника и угнать табун его.

кой, чтобы вдруг не наткнуться на кого-нибудь, а днем лежать с лошадьми в овраге, в камыше, почти притаив дыхание. Похождения и приключения беглецов и землепроходцев в степи Заяицкой иногда очень замечательны, иногда невероятны. Недавно еще, строгою зимой, в декабре, шайка поймала на перепутье четырех вестовщиков, шедших из Бухары. Их обобрали до нитки, отняли все, провели еще переход или два голодом с собою, а потом отпустили нагишом, оставив им, как последнее убежище, одно только огниво. Они высекли и развели огонь, обогрелись, потом двое побежали с головнею вперед и опять развели огонь; как дымок в версте закурился, так остальные двое пустились туда же; потом эти пошли вперед и, чередуясь таким образом, они благополучно пробежали до двухсот верст, нагишом, по снегу, при сильной стуже и без всякой пищи. Тут они наткнулись на аул и были спасены. Кайсак не видит в поступке этом, обобрать беззащитного путника и погубить его, не видит бесполезной, зверской и бессмысленной жестокости, которую мы в нем видим; эти же четыре гольша, если б им случилось когда-нибудь быть на месте грабителей своих, поступили бы, без сомнения, с первыми встречными так же. Наш отряд поймал однажды в степи отъявленного вора и разбойника; связанный, сидел он на земле. Кайсаки из ближних аулов, частью служившие нам жожаками, обступили пойманного, ругались над ним, плевали на него, так что караул наш должен был их отогнать. Прибегает еще новый зритель, который, услышав о поимке разбойника, спешил насладиться лицезрением его, убедиться, действительно ли это он. Пришел, взглянул и ужаснулся! Всплеснув руками, начинает он проклинать его в глаза, стараясь разжалобить и его и всех свидетелей, рассказывая сто раз сряду, каким зверским образом изверг этот напал в его отсутствие на семейство его, угнал скот, избил до полусмерти мать и жену, закинул ребенка в речку и прочее. Тот долго молчал; наконец, покачав головою, сказал спокойно: «Ты, я вижу, и был и век будешь дураком. В то время был ты дурак за то, что тебя не было дома,

а теперь ты дурак, что сидишь дома; я связан: поезжай в аул мой на расправу!»

Чета наша продневала первый день, залегши в прибрежные камыши Сыра; и странное обстоятельство едва не передало их обратно в руки преследователей, коим, впрочем, и преследовать можно было только наугад, не зная, куда и зачем Майна бежала; но вместо того оно ускорило еще благополучное их бегство. По множеству аулов и народа близ Сыра, Майна не осмелилась бежать далее днем, а залегла с рассветом, переплавившись только вплавь через реку, в глухой, непроходимый камыш, где путники наши наткнулись на узенькую тропинку. По этой же тропинке шел в то время им навстречу хозяин и властелин не только проложенной им самим тропы, но и обитаемых им камышей. Это был огромный полосатый барс, или тигр, который валял в один прыжок, лучше всякого коновала, самую крупную скотину. Он ходил на ночной промысел свой в степь и, напившись крови, возвращался обычным путем с рассветом в свое логово. Майна и Куцый шли спешившись и вели лошадей в поводу; почуяв зверя, кони вдруг захрапели и, взметнув гривы, вырвались и пошли по камышам напролом. Майна с провожатым своим кинулась несколько в сторону от тропинки, не могли проломиться по этой невероятной чаще и остановились: сытый зверь прошел спокойно в пяти шагах от них и не обратил на незваных гостей своих никакого внимания. Обождая немного, они вышли снова на тропинку, спешили по ней в степь, но, лишившись коней, почти отчаивались в возможности продолжать путь свой: оставалось разве заночевать тут, подползти ночью к ближайшему аулу, высмотреть табуны, кинуться на лошадей и скакать. Майна решила и на это; а Куцый, надобно отдать ему справедливость, не уступал ей в храбрости и предприимчивости. Но судьба избавила Майну от напасти: лошади их стояли спокойно под степным увалом и паслись все вместе, на тучном болоте. Майна была в неизъяснимой радости; ей казалось, что она теперь одолела все беды и препятствия и достигла уже отдаленной цели своей, до кото-

рой было еще более 700 верст. Они проехали до самого полудня, пробираясь, сколько можно было, оврагами, а в барханах, или песчаных буграх Каракума, который весь походит на взволнованное бурей море, — углублениями между бугров, и залегли в скрытном месте, поодаль от копаней или колодцев, чтобы на копанях этих с кем-либо не столкнуться.

Таким образом, питаясь крутом, Майна с Куцым своим добрались на шестую ночь благополучно до Эмбы, переехали ее вброд и, залегши в кустах по речке, увидели на заре вдалеке по Сырту* двух вершников о двуконь и узнала тотчас по приемам их, какой это народ; это, без всякого сомнения, были караульчи, разъезды какой-нибудь близкой шайки. Пускаясь на промыслы свои, кайсаки каждый день с зарею отправляют попарно разъезды; облетав о двуконь, на добрых лошадях, всю окрестность, сделав иногда до 150 верст, разъезды возвращаются на сборное место и доносят о том, что видели. Эти караулы заменяют наши цепи, ведеты и разъезды; осмотрев такое огромное пространство, шайка идет или стоит на месте спокойно, не опасаясь ничего. При нашей местности этого было недостаточно; но в степи, где глаз свободно видит на десяток и более верст, предосторожности этой довольно. Иногда впрочем и кайсаки ставят, где нужно, отводный караул и, как искуснейшие в мире воры, делают это мастерски. Разъездные, увидав какую-нибудь конную толпу — пеший в степи, разумеется, не бывает, — наперед всего обманывают ее, если она их уже заметила, морочат, отводят, чтобы никак не дать угадать, где, в которой стороне, сидят их товарищи. Разглядев и убедившись хорошенько, как сильны противники, караульчи располагают по этому действиями своими; если те слабы, то дразнят, заманивают их и наводят прямо на свою засаду; если неприятель не дается в обман, удаляется, то скачут во весь дух своим, дают маяки на кругах, чтобы поднять всех на коня; потом скачут и машут шапкой в ту сторону, куда надо ехать, показывая нередко туда и сюда, чтобы шайка разделилась и

* Сырт — водопуск или разделение вод.

старалась обскákat и отрезать бегущих. Тут уйти противнику очень трудно, потому что кайсаки никогда не гонятся вслед, за исключением толпы, следящей добычу свою по измятой траве и по свежему помету, между тем как остальные обхватывают бока и забирают вперед. Если же открытая разездом шайка сильнее, то караульчи ни за что не подадутся в ту сторону, где их притон, а надеясь на бегунов своих, отманивают шайку все далее, позволяют дать себе несколько угонок в противную сторону, пропадают иногда от своих на сутки и более и возвращаются дальней околицей, когда уже успеют скрыться от неприятеля.

Итак Майна увидала на заре пару таких караульчи: глаза кайсачки зорки; и она вмиг отличила, что это за люди. Если бы она увидала их в полдень, — это бы значило, что шайка довольно далеко; но утром, на заре — это доказывало, что шайка стоит вплоть, потому что разезды выслаются с восходом солнца. Делать нечего: Майна с Куцым дали миновать себя вершникам, а когда они скрылись, повалили лошадей своих в кустарники при речке и снова залегли. Куцый, который обыкновенно спал, как убитый на всякой дневке, не мог теперь заснуть от страха и, растянувшись перед Майной ничком и загнув кверху голову, изъяснялся перед нею самым страстным потоком речей, Майна принуждена была не только грозить ему несколько раз плетью, но ударить его порядочно, чтобы хотя на время успокоить эту огненную сопку и нагнать на нее, вместе со страхом, кратковременную отсуду.

Около полудня вдруг показалась на окраине малой возвышенности, со стороны Урала, пыль, а вслед за нею и порядочная толпа, более или менее вразброд. Итак, Майна не обманулась.

Местоположение по сю сторону Эмбы, коей вершины отделяются от вершин Илека плоским и широким сыртом Буссага, ровное, гладкое: тут нет ни рытвины, ни оврага, ни кусточка, на несколько десятков верст; следовательно, нынешнее убежище Майны, то есть самая долина Эмбы, было единственное на большом пространстве. Беглянка с проводником своим проле-

жала, притаившись, еще часа три — и гроза миновалась, шайка прошла, прошедши в виду их Эмбу. Настали сумерки. Майна пустилась снова в путь.

Но не успели путники наши отъехать пяти верст, как вдруг услышали за собою вплоть конский топот. Они пустились скакать, но толпа неслась уже с гиком за ними, на хвосту и обскакивала их с боков. Эта была та же шайка, которая днем переправилась за Эмбу; внезапная перемена пути их произошла вот отчего: один из разъездов привез, возвратившись, какой-то гостинец, завязанный в конец кушака; все обступили вестников, кричали, шумели, разглядывали и передавали из рук в руки диковину, и вдруг единогласно положили ехать поспешно назад. Диковинка эта была не иное что, как комок свежего помету, в котором нашли несколько зерен овса. Эти невинные зерна нередко встревоживают мигом сотни аулов; не мудрено, что шайка наша также казалась крепко озабоченною. Эти зерна, овес, доказывали неоспоримым образом, что шайка едва не напоролась на русский отряд, также точно, как ячмень или джугары в помете доказывали бы присутствие хивинцев или туркмен. Убоясь встречи с нашим поисковым отрядом, шайка обратилась вспять, настигла случайно путников наших и быстро, неумоимо их преследовала.

Под Майной были два лучших коня, один под верхом, другой, также оседланный, в поводу. Куцый, хотя выехал на этот раз в поле не на куцем своем, а также на паре добрых коней, был однако же вскоре отхвачен, споткнулся, еще ткнув огромным шестом своим на перевесе в землю, потом сбит с седла и взят. Майна неслась во все повода, впотьмах, не разбирая пути, куда мчались кони; она взрезала на скаку седельную подушку свою и, выхватывая из нее целые горсти пуху, пускала его за собою, в глаза настигавшей ее погони, людей и лошадей. Мало-помалу шайка растянулась, стала отставать, но человека три налегали сильно, и один, сбоку, несколько раз едва не заскакивал вперед. Майна бросила повода лошадей, связав их вместе выхватила с пяток стрел и лук, чего преследователи не

могли впотьмах разглядеть, оборотилась вполоборота назад, привстав на стремена, пустила стрелу, другую, третью, вытянув тетиву, как видела и слышала от брата, во всю стрелу, по самое копейцо — стрела тихо шикнула, едва слышно, без шума и грохоту нашего огнестрельного оружия, — и бойкий всадник пошатнулся, закричал: «Убили меня, умираю». Погоня отстала, и чрез четверть часа все вокруг Майны утихло. Она остановилась, дала вздохнуть лошадям и стала выжидать и прислушиваться осторожно, что будет.

Майна знала обычаи земляков своих, знала, что спутника ее, если он попался в руки неприятеля — чего она однако же по темноте не видала, — что пленника такого рода не лишат жизни, а только поколотят и оберут; ей стало жаль своего Куцего, и она решилась проехать осторожно несколько верст назад, до того места, где она потеряла друга, и поискать его. Шайка пронеслась стороною, по течению Эмбы, между тем как Майна приняла с вечера до Эмбы прямо на Уил.

Проехав шагом, с осторожностью и расстановками, верст пять-шесть, Майне показалось, что она послышала стон. Остановившись и вслушавшись, она осторожно поворотила туда, прилегла на луку, глядела против неба и, наконец, увидала какую-то живую кочку. Смело подъехала она к ней, в уверенности, что это должно быть Куцый, и не ошиблась. Он сидел подгорюнясь, нагишом, как мать на свет родила, и, не обращая большого внимания на подъехавшего вершника, которого считал, без сомнения, принадлежащим той же шайке, сказал: «А ты чего еще? Тебе что надо? Ты видишь, я сижу — дай бог вам здоровья — нагой, земле подо мной стыдно; а бить также более нельзя меня, не по чему, нет живого места, все один синяк. Приезжай с рассветом, да полюбуйся».

И смешно и жаль было Майне; Куцый не испустил ни одного стога, ни вздоха, когда избили его нагайками от затылка до пяток; он только, стиснув зубы, переминался, а узнав Майну, заплакал в голос и целовал копыта ее лошади. «Не сказал я, — воскликнул он, — не сказал ни слова, сколько ни старались они

около меня, не выпытали ничего! Не бойся, не знают они, кто ты и откуда; я сказал, что мы таминцы, бежали от разбойников джагалбайлинцев. Сколько ни колотили, ничего больше не вывели».

— Дурак ты, дурак, бедняжка, — сказала Майна, — да что же тебе пользы было обманывать, врать и заставлять себя бить? Если бы джагалбайлинцы нападали на таминцев, верно бы и эта шайка о том знала; какая же тебе польза лгать на свою шею? Кому из нас от этого легче?

— Все-таки обманул их, — сказал покрикивая Куцый, — все-таки они в дураках остались; а я им не переметчик дался, чтобы высказать всю правду.

Майна отдала уроду чапан свой, тюбетейку, одного коня, и, отдохнув немного, поехали они дальше. Помолчав с четверть часа, Куцый захохотал, пробормотав: «Обманул-таки собак, обманул! Они и теперь думают, что мы таминцы!» Потом, оборотясь вдруг после этого быстро к Майне и ощутив у себя торока, закричал: «А где же наш крут? А что мы есть будем?»

Куцый в самом деле был прав. Крут пропал вместе с лошадыми его, где был второчен, и у путников наших не осталось ни насущного зерна. Куцый умел и этот, несчастный случай обратить, мысленно по крайней мере, в свою пользу: «Съедим барана, — сказал он захохотав, — съедим большого барана, только бы добраться до аула. Ты, Майна, ступай стороной, дальше, а я подползу, украду и принесу. Небось, я приколю его на месте, где ухвачу, чтобы не ревел, не драл горла да не сзывал народ». И Куцый замолк. Наслаждаясь мысленно этим лакомым и сытным блюдом, он разбирал барана уже по частям и суставам: хрящеватая грудинка хрустела под зубами его, огромный курдюк чистого сала расплывался у него во рту, сочное мясо тешило непрехотливый язык и небо. Куцый набирал полон рот, огромную волчью пасть свою, и глаза у него проглянули более обыкновенного, яблоки лезли на лоб, как будто он уже давился огромными пригоршнями куллары или бишбармаку, пятипалого, ручного кушанья, крошеного мяса. Он рассмеялся и утер

рот ладонью, взад и вперед, от уха до уха. Потом Куцый зевнул, растворив челюсти свои четверти на полторы, поежился, пожал плечами туда и сюда, и стал дремать на коне, как после сытного обеда.

Майна между тем рассчитала, что ей теперь всего лучше искать днем аула, положившись на помощь и гостеприимство земляков; тут могли быть только аулы семиродцев или даже баюлинцев; может быть, на счастье, удастся наткнуться на послед-них и допроситься о тех, кого она ищет. Заехав в небольшой овражек, по переправе через Уил, она решила ждать рассвета, тем более, что утомленных лошадей надо было попасть. Она с усталости скоро заснула и проснулась вдруг с испугу от страшного крика и шума, ее окружающего. Куцый, задумав съесть барана, отправился на промысел, как скоро услышал, что в какой-нибудь версте или двух залаяли собаки. Подкравшись к сонному аулу, он высмотрел ползком, где какой скот, подполз благополучно к овцам, поймал одну, проколол ее, оттащил ползком за полверсты и принес на становище свое. Но этого мало: надо было сварить в чем-нибудь барана, если не печь его на жару навозном; Куцый готов был в крайности и на это, но он еще не полагал себя в такой крайности и пошел промышлять котел. С дерзостью голодного волка воротился он снова в тот же аул, добрался ползком до кибитки, в которой чуть мелькал еще тлевший огонек, поднял легонько нижний угол запона и стал разглядывать, что делалось в кибитке. Все спали; плоский широкий котел стоял, по обыкновению, с водою над жаром, разложенным по самой середине кибитки. Куцый, глядя на котел, с необыкновенной живостью представил себе, как бы в нем хорошо и вкусно уварился баран его; оглянувшись еще — за решетку близ входа заткнул косматый малахай; в одно мгновение схватил он малахай этот, ухватил им, вместо рукавицы, котел с огня, опрокинул его и вылил воду, не заботясь о том, кому она попала на ноги и на голову, выско-чил из кибитки и бегом, опрометью, пустился бежать. Собаки бросились в погоню за ним и стали теревить вора сзади за ча-

пан, порвали ему даже икры, потому что Куцый был, как известно читателям, босой; но он бежал без оглядки и без памяти, покуда наконец не нагнали его выскочившие за ним следом и удивленные невероятной дерзостью хозяева, которые, кинувшись в погоню на лай собак, настигли вора прежде, чем он успел добежать до овражка, где спокойно отдыхала Майна. Вот шум и крик, от которого она проснулась.

Не зная, что это за люди и что тут делается, она только с осторожностью приподняла голову, но не могла разглядеть ничего, кроме небольшой толпы, ниже услышать что-нибудь, кроме угроз, брани, нескольких сильных ударов нагайкой, — и вскоре все утихло, народ удалился. Когда рассвело, Майна удостоверилась, что она одна, Куцего нет, а рядом с нею, в овражке, лежит зарезанный баран; лошади ходят внизу, где были пущены; кругом все пусто. Она села верхом и, выехав на бугор, увидела аул. Закричав с детской радостью вслух: слава тебе, господи! — она поворотила туда и через четверть часа стояла перед пятком кибиток, поставленных в кружок.

Ответив на мужское приветствие ее тем же, молодой парень, сидевший на лошади с *укрюком**, спросил ее: «Кто ты? Чего надо?»

— Я баюлинец, — сказала она, — сын Сакалбая, сына Талдыкова, ездил в Семиродцы, к невесте, и не знаю теперь, где найду опять свой аул. Не слышно у вас, где они кочуют?

— Кто? — спросил тот, прислушиваясь и пригнув голову на бок.

— Где кочуют баюлинцы? — сказала Майна.

— Баюлинцев много, по всей степи кочуют баюлинцы, — отвечал вершник, подъехав ближе. — Да тебе кого надобно, ты кого назвал, ты кто?

— Я сын Сакалбая Талдыкова, — повторила Майна, — и его-то мне и нужно, Сакалбая.

Сказав это, Майна как-то не могла глядеть прямо в глаза вершнику и отвела взоры в сторону; они прямо упали на свя-

* Шест с арканом у пастухов.

занного по рукам и ногам Куцего, который увидел Майну, лишь только она подъехала, слышал весь разговор ее и молчал, не подавая никакого виду, будто и не знал и не видал ее отроду, чтобы их, как товарищей, не подвергали равной ответственности. Куцый лежал спокойно и ждал только конца и развязки, то есть чтобы измочалили об него все, сколько есть в ауле, нагайки, а после этого и сам надеялся добратъся благополучно до аулов Сакалбая. Но молодой парень спросил еще раз довольно настойчиво: «Ты сын Сакалбая, говоришь? Сакалбая Талдыкова, баюлинца?» И получив на это в ответ утвердительное *шуйлай*, так, — оборотился к одной из кибиток и сказал: «Батюшка, а батюшка — выдите-ка встретить сына, тут к вам сын приехал, только не знаю, брат ли он мне будет — спрашивает вас».

При этих словах, Майна, конечно, разгадала все; и когда вслед за тем старик Сакалбай вышел из кибитки, а потом и брат его и сыновья, кроме Майора, впрочем, то Майна кинулась с лошади в ноги старику и залилась горькими, радостными слезами. «Я не сын твой, — сказала она, а дочь твоя, Майна, которую ты высватал за сына, и коли не приезжали за мною, то я приехала к вам. Меня отец отдал было за другого — но не быть у девки двум женихам, как не быть двум солнцам на небе; я приехала к жениху своему, к отцу; бери меня под свое крыло, накрой меня своей правой рукой, не давай в обиду сильному, не вели стыдить меня никому; стыднее, чай, покинув жениха да быть женой другого, чем прийти к первому!»

Правду говорит пословица: девку трудно только выносить — а раз перевабишь, так уж сама как сокол на руку летать станет.

Удивлению и радости не было конца, Сакалбай накрыл голову Майны полою чапана своего, потом поднял ее, объявил всем, что она дочь его, око родное, сердце утробы его; повел ее в кибитку свою, потом поставил ей, как самому почетному гостю, особую белую кибитку, воткнул у входа ее длинное копьё свое, с резным копеищем; словом, Майна была принята, как самый близкий и дорогой гость.

А Куцый? Куцего, разумеется, освободили, приказали ему

также быть гостем, и когда Сакалбай распоряжался через час после этого по хозяйству, велел зарезать для дорогой гостьи барана, то Куцый признался, что у него уже припасен целый баран, невдалеке, и взяв лошадь, поскакал и привез украденного им тут же накануне барана. Подъезжая к аулу, он хохотал от души и моргал и поматывал головой. «Режьте другого, — сказал он наконец, — этого уже собаки порвали, на мое счастье; это мой, я его съем один». Сакалбай не захотел лишить Куцего счастья его, тем более, что кайсаки относительно собак крайне брезгливы, и как во многих других, так и в этом отношении, выгодно отличаются от калмыков.

Майора не было; Майна провела с лишком сутки в ожидании его с бабами и девками тестева аула; смеху и радости было много. Майор возвратился на другой день к вечеру и слезал осторожно с лошади, потому что плечо у него было подстрелено стрелой Майны. Шайка, которую встретила она, составилась из баюлинцев, ходивших в соседние роды на баранту или воровство, по начетам своим, взаимному праву и обычаю. Дело относительно раны Майора невольным образом обнаружилось и объяснилось, потому что Майна наперед уже рассказала все похождения свои, не подозревая, чтобы жених ее мог быть в этой шайке. Сакалбаю, по обычаям и понятию народному, должно было прикинуться сердитым на сына, который дожил до такого стыда, что невеста за ним приехала, а не он за нею; и еще сверх этого он был ранен — девкой! Сакалбай сказал в кругу родных речь, в которой превозносил Майну до небес, бранил сына и говорил, что он, сын, ее не стоит. Майор, казалось, худо верил этому; он сидел против Майны, поглядывал на нее исподлобья, будто бы думал: толкуйте вы!

Общее недоумение после плодovитой речи Сакалбая было прервано явлением Куцего; управившись еще накануне с бараном своим, которого не успели доестъ собаки, прикрыв даровыми обносками наготу свою, он отдыхал в вожденном пресыщении за той самой кибиткой, где происходило прение. Вслушавшись несколько, о чем идет речь, он пошел наконец объ-

вить Сакалбаю, для чего собственно Майна с ним бежала, и предложил в то же время услуги свои на паству коней или овец. Куцый пролез под запоном, оттолкнув его головою, и вошел с самодовольным, рассудительным видом, держа правую руку на отлете, между тем пальцы левой руки, которою он собирался рассуждать, перебирали по воздуху у него под бороною. Все захохотали, глядя на него, и он последовал их примеру; наконец, с простодушной улыбкой, которая, казалось, была готова и к плачу и к смеху, спросил: «Что же, будем смеяться или будем дело говорить?» — «Дело говорено и покончено, — сказал Сакалбай, — а тебе чего надо?» — «Есть у меня просьба, — продолжал Куцый, — до всех до вас, сколько тут есть». — «Какая просьба?» — «Дайте ход речи моей, прикажите говорить, а вы будете слушать». — «Говори», — сказал Сакалбай; и Куцый начал:

«Дивуюсь я, не надивуюсь, гляжу я, не нагляжусь, а все вы люди умные. Вы меня не знаете, я вас не знаю, а коли я скажу вам: будьте здоровы, то вы отвечайте: добро пожаловать. Что вы мне прикажете, то стану делать; что я стану говорить, то вы будете слушать». — «А долго еще слушать тебя?» — спросил Сакалбай. «Нет, не долго; на то есть ваша воля, вы мой кормилец, я вам работник. Знайте ж, кто мы и зачем мы в эту сторону заехали; правды таить нельзя, вы люди умные, вы люди добрые, мы ваши слуги, перед вами сердца наши настезь. Мы, не противно закону божию, замышляем сочетаться браком, жить и копить вместе, я, то есть, и вот Майна, дочь бывшего хозяина моего, человека знатного». — Все захохотали; но Куцый закричал, подняв обе руки: «Постойте, — и продолжал, — вот мы зачем и ушли вместе и поселяемся у лучшего в мире хозяина, и просим не обижать нас, а за съестное мы вам отработаем, и будете вы жить за нами спокойно».

Речь эту, для не знающих обычаев степных, надобно немного пояснить: у кайсаков ничто не делается без красноречия, без длинных речей, в коих обыкновенно берет верх тот, кто всех перекричит и, не дав никому опомниться, оглушает все собрание полчаса сряду, без роздыха, без расстановки, диким

криком своим, и отковав таким образом все по своему чекану, увлекает их за собою. Люди умные, одаренные кроме голоса еще и даром слова, умеют им пользоваться; они заводят окольную речь, в которой никак не ожидаешь такого резкого конца, и неожиданность эта поражает и увлекает всех, заставляя смеяться и согласиться. Слово Куцего-Энеида наизнанку, карикатура киргизского красноречия, но в духе и обычае народа.

Когда Куцый кончил и все захохотали, то Майор вдруг ожил, кровь ударила ему в лицо, и он, не разумея шутки, закричал, что убьет урода этого и закинет как пса, если он осмелится еще раз объявлять гласно притязание свое на Майну. Сакалбай велел молчать сыну, напомнив ему, что он потерял всякое право на Майну, недостойн ее, и что, кроме этого, для него засватана другая девка у соседних таминцев. В самом деле, это было справедливо: получив весть об отказе Карасакал-батыря, Сакалбай приискал второму сыну своему уже другую невесту. Но это было распоряжение и воля отцовская, которой Майор бесприкословно повиновался, а не искал, не желал этого, и глядя на Майну, не думал теперь о другой невесте своей. Вся семья, братья, дяди, свояки, все, кто был в собрании этом, сидя поджав ноги кружком, стали кланяться почтительно главе семейства, Сакалбаю, и говорили: «Не делай так, не иди против судьбы, будь милостив; — не будет так, не твоя это воля, твоя воля умная и толковая; — прости сына, сын молодец у тебя, прими в милость его, будь ему отцом» — и прочее. Сакалбай, приняв суровый вид, слушал однако же все это с удовольствием: он исполнял только обязанность свою, по обычаям и понятиям своего народа, хотел уступить только усиленным просьбам, как будто поневоле, и собрался, казалось, еще подержаться, не снимать личины, быть еще с полчаса неумолимым. Но в эту минуту, как будто сговорившись, Майор и Майна, сидя, — она позади отца, вне круга, а он насупротив его, — вдруг ударили перед стариком челом в землю и завыли. Майор лежал и вопил: «Язык свой вырву, грудь истерзаю, отсеку правую руку свою». А Майна говорила: «За тем ли я пришла к тебе, покинув отца и мать, чтобы

ты бесчестил меня на чужбине; умилось над сиротою безродною; коли отынешь у нее суженого, так кто же у нее будет свой, к кому же она приехала на чужбину, — или только за позором своим, на стыд свой и на потеху злым и досужим языкам? Что же скажут в аулах наурузбайцев, когда дойдет туда весть к старому Карасакал-батырю, что дочь его ушла к чужим, что свои на чужбине от нее откинулись, и мужа у нее там нет? Умилось, не погуби!»

Женщины, и в особенности девки, в степи во всех случаях, где дело касается их близко, бывают красноречивее мужчин: девки привыкли там импровизировать, распевать стихи свои наобум, при каждом удобном случае, на всех игрищах, пирах и сборищах; привыкли изливать радость, и в особенности печаль свою, в поэтических порывах. Вдова оплакивает мужа не иначе, как распевая в честь его похвальные песни, с причитыванием, точно как кой-где еще у наших простолюдинов. Вот почему в словах женщин и девок, если ими управляют сильные страсти, гораздо более смысла и чувства, нежели в грубых и буйных порывах мужчин. Он дурачится, грозит, хочет себя искалечить, порываясь к действию, не имея быть покорным и страдательным; она умоляет, убеждает, выражает то, о чем скорбит сердце ее, по чем болеет душа.

Сакалбай не устоял, не выдержал, не успел кончить всю поделку таким образом, как наперед было сам с собою условился. Слезы покатались у него градом, он вздыхал тяжело и, обращаясь ко всем, кто был тут, повторил раза два: «Полно, полно, — ну, что же я стану делать — как же мне с ними быть — сами вы видите... я ли тут чему виноват? — горе мне с вами, девки, да и только, — а как же быть...» Оправившись, принял он опять осянку поважнее, велел встать детям и, собравшись с духом, решил дело так:

«Против судьбы спорить и рядить нельзя; на это человека не станет. Майна пришла к нам, она наша; возьми же ты ее, Майор, я отделяю вам и хозяйство. А ты, Капитан, ведь и ты уже не ребенок, и тебе можно, по примеру двух старших братьев, взять

жену. — Поручик обождет еще, он совсем глуп, так тебе будет женой братнина невеста, я за нее выплатил почти весь калым; — я же стар, отживаю век свой; будете меня кормить. Поручик посидит еще со мною; старый да малый — товарищи; — и я под старость глупею; 60 лет прошло, ум назад пошел. Сыграем две свадьбы вместе».

Майна рассмеялась сквозь слезы и накрыла глаза рукавом чапана; Майор пожимался в обе стороны от поздравительных ударов руками по плечам, а Куцый, поняв наконец, в чем дело, также поздравлял соперника своего с какою-то огромной, угловатой улыбкой недоуменья, а когда все собрание поднялось на ноги, чтобы кончить и закрыть присутствие, Куцый опять поднял вверх обе руки, закричал, встряхнувшись всем телом: «Токта!» Пойдите! — стал в дверях и объявил, что никого не выпустит, доколе не дадут воли языку его. Речь его на этот раз была коротка; он спросил только с изумлением, которое рисовалось на всем пространстве огромного лица его, от бороды до бровей. — Разве-де меня вовсе забыть хотите, разве меня не жените? Так обо мне что скажут земляки мои, когда дойдет до них весть, что я ушел с невестой, а живу холостым? Не погубите меня, мне будет стыдно!» Последнее выражение Куцый подслушал у Майны и полагал, что по всей справедливости, может его применить также к себе.

После общего смеха, где все кричали в голос и давали Куцему разные советы, утешая его, Сакалбай один действительно его утешил: «За верную службу твою, — сказал он, — что привел ты ко мне Майну, украл котел и барана, я тебе в *байгушах** найду дешевую невесту; а свадьбу твою отпразднуем вместе со свадьбой моих сыновей».

— Баш! Баш! — кричал обрадованный Куцый и кланялся ниже пояса, между тем как шумная толпа толкала его и колодила по спине и плечам: «Спасибо! Дослужился-таки Куцый до чести, и свадьбу его отпразднуем со скачкой, с борьбой, с кумысом и с бараниной».

* обедневший, пеший кайсак, нищий.

В день свадьбы Майна сидела в особой кибитке, между девушками, лицо в ней завешено было алым шелковым платком; коса распущена и заплетена во множество мелких косичек. Девки пели все в один голос:

«Нет напева в русской песне, как нет напева в песне вешней кукушки; а есть напев в той песне, которую поют дети кочевой орды, девки красные, когда отдают сестру замуж: поют, как лебедь, у которого беркут унес лебеденка серого, поют, как клекчет орел, подымая от земли жеребенка».

И Майна сидела посреди этой пестрой толпы подруг, поющих тоскливые, жалобные песни; завешенная платком, она, казалось, и сама тосковала и плакала; но по временам отводил палец ее край платочка, и быстрый черный глазок, изобличающий резвую улыбку, выглядывал из-под покрывала. Майор сидел в это время в отдельной, кругом закрытой кибитке, и не показывался оттуда во весь день; изредка только заглядывали к нему товарищи. Он не видал ни борьбы, ни скачки, а слышал только изредка шумный спор, чья лошадь пришла первою, потому что скакунов провожала густая толпа заехавших к ним навстречу всадников, и окружив и спутав их, примчались вместе с ними, и не дала рассмотреть в точности, на чьей стороне была правда; всяк отстаивал своих. Пир длился трое суток.

Вместе с Майором сидели: брат его, Капитан, и счастливый Куцый. Урод также считал обязанностью стыдиться и не выходить никуда. Рядом с Майной сидела будущая невестка ее, Хамиль, также под покрывалом; а по другую руку еще и третья невестка, дешевая, как выразился об ней Сакалбай, в чужом чапане, потому что у нее своего не было. Родители ее не думали отпраздновать когда-нибудь свадьбу дочери своей так великолепно, и не мало этим хвастались и гордились.



СОДЕРЖАНИЕ

От составителей.....	6
Оренбургские мотивы в творчестве В. И. Даля.....	9
Европа и Азия.....	17
Чудачество.....	24
О котях и о козле.....	28
Об очках.....	31
Из «Солдатских досугов».....	33
О Георгии храбром и о волке.....	39
Сказка о прекрасной царевне Милонеге-Белоручке по прозванию Васильковый глазок, и о трёхстах тридцати трёх затыжных волокитах и поклонниках её.....	50
О Строевой дочери и о коровушке Бурёнушке.....	71
О воре и бурой корове.....	79
О баранах.....	87
Серенькая.....	92
Охота на волков.....	112

Обмиранье.....	128
Полуночник (<i>Уральское предание</i>).....	147
Уральский казак.....	158
Рассказ Верховлонцова о Пугачёве.....	175
Осколок льду.....	183
Башкирская русалка.....	192
Бикей и Мауляна.....	213
Майна.....	290
Гофманская капля.....	338
Примечания.....	403



